

В 2015 году увидело свет полноценное издание романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза»\*. В романе повествуется о пугающих событиях раннего Советского Союза: главную героиню, жительницу татарской деревни, вместе с переселенцами из других городов страны отправляют по каторжному пути в Сибирь. Особенно ценно в романе то, что описываются не только мысли и чувства жертв строительства коммунизма, но и переживания, сомнения (или их отсутствие) и мечты представителей противоположной стороны; ведь только через описание всех сторон этого суперконфликта может прийти понимание, что это не борьба добра со злом, света с тьмой, правды с ложью (а ведь как хочется позволить сказочному мышлению взять верх над здравым смыслом, и разделить всех на хороших и плохих!), а борьба Развитого (вернее, считающего себя таковым) и Неразвитого (вернее, считаемого таковым Развита́м). В истории есть большое количество архетипов автопрезумпции правоты Развитого. Наиболее понятным является случай, когда метрополии навязывали колониям свою культуру, будучи уверенными в верности этого подхода. Можно вспомнить диалог между героями фильма Сидни Поллака «Из Африки» датской баронессой, миссионеркой, пытающейся в начале XX века обучить африканских детей грамотности (роль исполняет Мэрил Стрип), и европейцем, искателем приключений в этой дикой местности (Кения), относящимся с уважением к здешним традициям (Роберт Редфорд).

---

\* Романы «Зулейха открывает глаза» и «Зона затопления» активно конкурировали за литературные премии 2015 года. Например, книга Гузели Яхиной удостоилась первого места в рамках премии «Большая книга», а произведение Романа Сенчина – третьего.

*Редфорд:* Как они (африканские дети. – А.Р.) вам сообщили, что не прочь научиться читать? Вы уверены, что им понравится Диккенс?

*Стрип:* По-вашему, им незачем читать?

*Редфорд:* Надо спросить у них.

*Стрип:* Вы просили ребенком, чтобы вас учили? Чем им могут навредить наши рассказы?

*Редфорд:* У них есть собственные. Они просто не записаны.

*Стрип:* Почему вы хотите держать их в неведении?

*Редфорд:* Они не невежественны. Просто не надо превращать их в маленьких англичан. Вы любите все менять?

*Стрип:* К лучшему, я надеюсь. Я хочу, чтобы мои кикую (африканский этнос. – А.Р.) умели читать.

*Редфорд:* Мои кикую, мой хрусталь, моя ферма – не много ли вам?

*Стрип:* Я за все заплатила.

*Редфорд:* И что именно здесь ваше? Мы не владеем этим миром – мы лишь гости здесь.

Даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять – здесь нет правого и неправого, пока мы не зададим каких-то занудных критериев, которые в конечном счете тоже будут эфемерными. В этом примере нет ни доли сатиры, все педантично разложено по полочкам, поэтому хочется привести еще и бичующий пример. В романе Курта Воннегута «Завтрак для чемпиона» есть забавный фрагмент:

...школьные учителя в Соединенных Штатах Америки постоянно писали на доске вот такую дату и заставляли детей вы зубривать ее и повторять гордо и радостно:

1492

Преподаватели говорили ребятам, что их континент был открыт именно в этот год. А на самом деле в этом самом 1492 году миллионы людей уже жили там полноценной, творческой жизнью. Просто в этом году морские разбойники стали убивать, грабить и обманывать этих жителей.

И вот еще какую вредную чушь учителя вбивали в головы ребятам: будто бы эти пираты основали правительство, которое стало факелом свободы для всех людей на свете. И детям показывали статуи и картины этого воображаемого факела свободы. Факел был похож на фунтик с мороженым, из которого выбивалось пламя.

Кроме того, морские пираты, которые главным образом участвовали в создании нового государства, владели людьми-рабами. Они пользовались человеческими существами вместо машин, и даже после того, как рабовладение уничтожили потому что все-таки это было очень стыдно, – те пираты и их потомки продолжали относиться к простым рабочим людям как к машинам.

Развитое борется с Неразвитым, то – упирается ногами, не желая отказываться от привычного для него уклада жизни, и не собирается соглашаться с Развитым, что оно качественно улучшит их жизнь (да и как однозначно оценить это «улучшит»?). Развитое же убеждает кого-то дипломатично, доходчиво и въедливо, а того, кто уже вконец достал упрямством, – кулаками. И в итоге все это выливается в борьбу не на жизнь, а на смерть.

Но это все в идеализированном тривиальном случае. В реальной же жизни в борьбу идей, соперничество Развитого и Неразвитого, вклиниваются многие другие факторы: доброта, злость, корысть, зависть,

себялюбие, чувство несправедливости, инстинкт самосохранения, личные взаимоотношения, усталость и бесконечное число прочих аспектов – в борьбу идей вмешивается человеческое. Все это размывает противостояние парадигм практически в ноль, и постфактум становится невозможным понять, какая же идея была правильнее сама по себе. Институт экспериментальной истории – это фантастика.

И тем не менее множество людей оказываются по обе стороны линии схватки – людей идейных и безыдейных, инициативных и действующих сугубо по инструкции, умных и глупых, людей, втянутых в эту бойню по своей воле или против нее. А так как человек обычно не прямая дорога, а тернистый путь, то даже будучи верным одной идее – человек на разных этапах будет разным; иногда человек может изменить свои убеждения и перейти на другую сторону; а порой человек на деле и душою будет по разные стороны баррикад. Развиваться могут идеи, развиваться могут люди – и им становится не по пути; но нередко человек соглашается резать себя на части. Иной раз борец за идею в пылу противостояния шаг за шагом забывает, что противостоит не людям, высказывающим иную точку зрения, а как раз этой противоположной позиции; в результате через некоторое время он сам в ужасе осознает, что уже борется не за идею, а за себя; или не осознает и уверен – вокруг сплошь враги (а ведь раньше нормально общались!) или идиоты. Эти метаморфозы тем более могут представить противостояние идей чем-то иллюзорным.

Но это не кажется иллюзией людям, оказавшимся на поле боя Истории, в конкретный момент. Наиболее идейным борьба заменяет смысл жизни, для других – борьба как способ исправить историческую несправедливость, для третьих – необходимость историческую справедливость отстоять, для четвертых – мать родна, большинство – пытаются разобраться по ходу пьесы.

В романе Гузели Яхиной показан уже конец борьбы, момент, когда Развитое отчасти разуверилось в возможности перевоспитания Неразвитого, а отчасти посчитало, что эффективнее для будущего дела будет использовать Неразвитое в утилитарных целях, а если кто-то все же изменится – тем лучше для него. И несомненная удача Гузели Яхиной в том, что она смогла показать всю глубину этой борьбы, не сбиваясь не то что на популизм, но даже на минимальные предубеждения и предрассудки, столь свойственные даже очень умным и мудрым людям при описании тех страшных лет.

Главной причиной этой удачи молодой писательницы является верно подбираемая на протяжении всего произведения дистанция между автором и описываемыми событиями эволюционного соперничества. Описывая их, Яхина, когда надо, оказывается на самой передовой (и хорошо, что с пером, а не со шпагой), но в нужный момент словно бы удаляется от действия. Этому чувству дистанции должны позавидовать многие современные писатели. И благодаря ему романистке удалось объяснить мотивацию всех сторон конфликта, до сих пор столь неприемлемо поляризующего наше общество, и не сфальшивить.

Чувством дистанции между писателем и повествованием замечателен роман Романа Сенчина «Зона затопления». В этой книге, наоборот, жителей сибирских деревень спешно переселяют в города из-за строительства ГЭС. Но в отличие от Гузели Яхиной автору «Зоны затопления» значительно реже приходится удаляться или идти на сближение с сюжетом: он большую часть времени работает на средней дистанции.

На поверхности лежат две возможные причины этого: 1) время действия романа Сенчина – сегодняшний день, а «Зулейха открывает глаза» про относительно далекое прошлое – 1930–1940-е; 2) все сталинское до сих пор вызывает больше полемики, чем даже сегодняшний день. Но на самом деле есть еще одна скрытая, но очень важная причина разного подхода у писателей.

Иногда заявленная борьба Развитого и Неразвитого – всего лишь предлог для тех, кто хочет под этой личиной пробить свои собственные, довольно мелкие (хоть и измеряемые многими нулями), интересы. Двое играют в шахматы, а над ними стоит кто-то другой. И играет он в карты, а не в шахматы, и на руках у него все козыри.

И Сенчин, и его читатель понимают, что, быть может, они присутствуют при такой сцене и подыгрывать не намерены. Поэтому-то писателя не слишком волнует эволюционная подоплека всего происходящего, и именно поэтому, вкупе с рядом других причин, его погружение в события практически на протяжении всего романа сравнительно одинаковое.

Сомнения по поводу того, являются ли изломанные судьбы людей данью прогрессу и борьбой Нового и Старого, роняют книгу Романа Сенчина с фильмом Андрея Звягинцева «Левиафан». Однако если выполненный в жанре притчи (или параболы) фильм прямо-таки провоцирует на жаркие дебаты вокруг его сюжета, то роман всячески пытается от этого уклониться. И оттого забавнее, что так же как и фильм, большинство интерпретирует книгу либо как диагноз социально-политическому устройству страны, либо как политизированную агитку, не понимая, что в нем есть множество других тем и идей, а не просто художественный анализ и констатация фактов, о которых мы и так знаем или догадываемся. Что ж, это претензия уже к читателям и зрителям.

Интересно, что хорошим помощником для понимания романа «Зона затопления» и сопоставления его с повестью Валентина Распутина «Прощание с Матерой» (относительно которого произведение Сенчина многими рассматривается в качестве ремейка) может послужить другая притча, правда, во всех отношениях большего масштаба – роман-притча Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». В романе колумбийского писателя тоже описывается жизнь одной деревни, Макондо, которая находится в относительной изоляции от крупных городов; однако показан не конкретный момент, а вся многолетняя история этой деревни – и мы можем видеть, что одна и та же деревня, во многом сохраняя свой дух, все же значительно меняется с ходом времени, и от этого нельзя откеститься. Так и здесь, сенчинские деревни и Матера во многом одинаковы, но время (тридцать лет разницы) делают их разными воплощениями одного и того же исходного объекта. Совокупность многих факторов (политических, экономических, социальных, технологических, культурных) оказывают большое воздействие на быт, который в свою очередь – вода камень-то точит, а если не камень? – сильно меняет сознание среднестатистического жителя деревни. Технологии принесли в деревенские дома телевизоры, и вот – сельские (по нынешнему законодательству разницы между понятиями «село» и «деревня» нет; кроме того, для данного текста исторические отличия двух терминов не принципиальны – поэтому здесь и далее эти слова считаются синонимами. – *А.П.*) жители чаще слышат городскую речь, и их язык сильно меняется; новая экономи-

ческая система заставляет больше иметь дело с теми финансовыми инструментами, о которых раньше не знали; социальное устройство заставляет быть мобильнее и не надеется на государство – теперь надо быть сноровистее во всяких юридических тонкостях. Бесчисленные вызовы времени приводят к тому, что той отстраненности от города, которая была раньше, даже во времена «Прощания с Матерой», у сенчинских деревень нет.

И все это в конечном счете ведет к тому, что нет уже той огромной ментальной пропасти между городскими и деревенскими жителями, что была раньше (хотя небольшая, отчасти инерционная, а отчасти перманентно объективная, конечно, осталась). Павел Басинский в книге «Святой против Льва» рассказывает о том, как сильно отличались между собой эти две группы во времена Льва Толстого:

Нам трудно представить себе, до какой степени одежда того времени подчеркивала социальное происхождение человека. Барин и мужик, оказавшись рядом, не просто отличались друг от друга по внешнему виду, но воочию представляли собой пример встречи двух совершенно разных миров, вроде встречи Миклухо-Маклая и коренных жителей Новой Гвинеи. Начиная с петровской эпохи внешние различия между бариним и мужиком достигли такого масштаба, что, оказавшись рядом, эти два представителя homo sapiens не могли общаться друг с другом как два представителя человечества, но только как барин с мужиком.

Однажды в жизни Толстого был забавный случай. Зимой он шел по Москве в своем обычном бараньем тулупе. Мимо на извозчике мчался известный славянофил Иван Аксаков. Толстой закричал и замахал руками, радуясь случайной встрече со старым знакомым. Но Аксаков промчался мимо. Он не узнал Толстого, решив, что ему машет руками и что-то кричит обыкновенный мужик. Ему даже не пришло в голову остановиться и спросить: может, этому мужику что-то нужно? Толстой говорил об этом усмехаясь: «Это была проверка на его “народность”».

Там же:

Инстинктивное недоверие к «барину», который еще совсем недавно был рабовладельцем по отношению к ним, было в крови у русских крестьян. Даже сейчас городской человек, оказавшись наедине с сельским жителем, чувствует это недоверие. Но еще меньше крестьяне были бы разговорчивы с откровенно ряженым человеком (речь о стили одежды Льва Толстого. – А.Р.).

Вполне возможно, сближение между деревенскими и городскими жителями шло быстрее, если бы не Великий перелом и последующая за этим некоторая скрытая общественная реакция в селе, которая, хоть и в сильно измененном виде, реанимировала былые взаимоотношения. Но здесь важно помнить о непрерывном, сквозном ходе истории. Конечно, причины и механизмы событий, описанных Джоном Стейнбеком в «Гроздях гнева», сильно отличаются от наших 30-х, но все-таки это тоже были годы жутких потрясений для американцев, и можно было бы ожидать, что возникнет некоторая отчужденность между деревней и городом. Она и была, но явно в меньшей степени и в иных формах, чем в России. Причины этой разницы надо искать в истории – будущее во многом вытекает из прошлого: разные государственные строи, финансово-экономические системы, климатические условия, религии

и прочие отличия между Россией и Америкой. Сходств тоже немало, но во многие из них надо внимательно вглядываться. Казалось бы, в России рабство (дипломатичнее: крепостное право, полурабство) было отменено в 1861-м, а в США лишь четырьмя годами позже, и Александр II, симпатизировавший Америке, был рад такому совпадению. Но и структура рабства была совершенно разной: классовая в России и расовая в США, и последовавшие аграрные реформы сильно различались (в Соединенных Штатах прошла заметно эффективнее), и реализация на практике: России понабилось 30–40 лет, чтобы большинство бывших рабов почувствовали себя по-настоящему свободными, а США как минимум 100 лет (удивительно: только в 2013 году штат Миссисипи, далеко не самый маленький штат, ратифицировал 13-ю поправку к конституции США, отменяющую рабство, – конечно, это формальность, но символичная). Словом, эволюция взаимоотношений между деревней и городом обусловлена не только сегодняшним и вчерашним днем, но далеким прошлым.

Таким образом, толпой промчались годы, а культурная разобщенность во взаимоотношениях русского города и деревни слабо выветривалась, и ко времени, описываемому у Распутина в «Прощании с Матерой» (1970-е), чувствовалась очень заметно, несмотря на то что научно-технический прогресс вроде бы их сближал. И шел бы этот процесс одним путем, но тут история-вертихвостка подкинула новый неожиданный, сильно изменив русло описываемого вопроса. Перестройка, развал СССР, возникновение нового государства подарили/«подарили» («мало исторического зазора» для оценки необходимости кавычек) нам новые возможности, социальную незащищенность, открытые границы, ориентацию на прибыль, Пиццу Хат и дикую внутреннюю миграцию. И все это привело к тому, что культурной разобщенности стало заметно меньше, да вот душевной как будто прибавилось. Таким образом, с ментальной точки зрения нет того явного разделения на городских-деревенских, что была раньше, но на фоне некоторой новой формы неприязни возникает искусственно индуцированная стигматизация.

Конечным итогом текущих взаимоотношений больших и малых населенных пунктов вместе с социальными и экономическими реалиями является дикая внутренняя миграция, которая практически выхолащивает население малых территорий. Исходя из исследований демографов, в 1989–2002 годах внутренняя периферия теряла до 40 % выпускников школ, а в последние годы в поисках лучшей доли уезжает 70 % бывших школьников. Депрессивные кольца образуются не только вокруг Москвы и Санкт-Петербурга, а практически вокруг всех региональных центров: где пошире, где поглубже.

А миграция в свою очередь – где яйцо, где курица? – вкуче с постоянно возвращающимися погостить и дистанционно поддерживающими связь с родными местами новыми городскими обитателями приводит ко все большему бытовому сближению между людьми маленьких и больших территорий, еще совсем недавно казавшимися едва ли не разными цивилизациями. Того сказочного и таинственного, чего еще недавно было в деревне с лихвой, сейчас становится все меньше. Это уже не иной мир, подобный тому, который описан в книге Наринэ Абгарян «С неба упали три яблока», где от маленькой высокогорной армянской деревни веет чем-то фэнтезийным; далеко сегодняшнее село и от татарской деревушки, в которой прожила свои первые 30 лет Зулехха; и

даже от Матеры, язык жителей которой можно было воспринимать как некий местный диалект. Да, и сейчас остаются по-настоящему медвежьи углы, но их становится все меньше.

Технологии и активная миграция привели к тому, что сегодняшний сельский язык уже не так сильно отличается от городского в сравнении с тридцатилетней давностью. И особенно явно это бросается в глаза при сопоставлении текстов Сенчина и Распутина. Сравним разговоры деревенских женщин у обоих авторов.

Цитата из Распутина:

– Я, девка, уж Ваську, брата, на загорбке таскала, когда ты на свет родилась. – Это Дарья Настасье. – Я уж в памяти находилась, помню.

– Ты, однако, и будешь-то года на три меня постаре.

– Но, на три! Я замуж-то выходила, ты кто была – оглянись-ка! Ты ишо без рубашонки бегала. Как я выходила, ты должна, поди-ка, помнить.

– Я помню.

– Ну дак от. Куды тебе равняться! Ты супротив меня совсем молоденькая.

Цитата из Сенчина:

– Чё, как ты, бедолажка? – спросила Фёдоровна и сразу добавила: – Совсем тебя не видать... Мы уж думали посылать, чтоб проверили... Вишь как, – Фёдоровна кивнула на покойницу, – третьего дня бегала, а нонче лежит.

– Лежи-ыт, – повторила плачущим распевом баба Зина, а Ульяна Павловна, все продолжая глядеть на маленький, обрамленный белым платком овальчик, ответила:

– Я давно не бегаю. Курам зерна сыпануть – и то история... Наверно, не переживую уже.

– Так не говори, – остановила Фёдоровна строго. – Там, – приподняла глаза, – там знают, кому когда. Нам нельзя загадывать.

– Я и не гадаю. Я сказала – «наверное».

– Хе-хе, – вдруг тихо засмеялась баба Зина, – а три кузова дров Генке-то заказала.

– Что же – не замерзать же.

– Это правда. Не замерзать.

Это не специально подобранные отрывки – можно привести множество других, кроме того, едва ли разная обстановка может так сильно влиять именно на основы грамматики. Интересно обнаружить, что наибольшее сближение, что и логично, произошло по линии синтаксиса: деревенская речь распутинских героев изобилует различными перестановками слов внутри предложения, кажущимися необычными и будто бы нарочито, умышленно просторечивыми для современных городских жителей; в то же время в речи сенчинских героев этого заметно меньше. Еще стоит отметить, что заметно реже используется частица смягчающего повеления «-ка» (например: оглянись-ка), а случаи использования этой морфемы в «Зоне затопления» не отличаются от случаев, в которых она употребляется в современной урбанистской речи. Что касается необычных грамматических основ, то их как раз таки в речи современной деревни осталось довольно много (причем многие из них имеют полноценную замену из городского языка), и это вполне логично. Во-первых, некоторые слова не имеют емкого аналога (иная семантика или иная эмоциональная окраска), во-вторых, слова,

имеющие синонимы, еще не вытеснены – на это требуется время, в-третьих, привычка, порой осознанная, а порой – нет.

Сенчин в конце своей книги предлагает деревенско-городской словарь, и встает вопрос: зачем писатель это делает? Пытаясь реконструировать историю жизни древнего народа, мы используем многие инструменты, и одним из наиболее важных является язык; вот почему так важно проникнуть в недра языка ушедшего этноса и попытаться уловить значения хотя бы некоторых слов, которыми люди прошлого оперировали, и именно поэтому столь же ценны с точки зрения истории верно прочитанные и понятые письма прошлого, как и материальные драгоценности ушедшей эпохи; надо быть благодарным тем, кто много веков тому назад упростил нам процесс декодировки текстов прошлого, оставив подсказку. В фильме «Овсянки» есть сцена, в которой поэт-чужак из вымирающего народа топит самое ценное, что у него есть – печатную машинку, а спустя некоторое время поэт и сам умирает; на фоне действия, посвящённому угасанию конкретного народа, эту сюжетную линию можно интерпретировать так: уходит этнос, уходит поэт как хроникер, уходит язык. Быть может, и этот словарь в конце книги Сенчина – последняя опись перед затоплением: язык как капитал истории конкретных деревень, канувших в Ангару. Проблема в том, что из-за расшифровок многих слов по ходу текста, которые вроде бы и нужны для решения тактических задач (темы, проблематика, связность сюжета, мотивировка действия персонажей), не чувствуется той боли, которую хотел передать Сенчин, и словарь просто вырождается в разъяснительную записку по поводу непонятных слов. Автор этой рецензии не знает, как можно было бы исправить эту неудачу, так как попытка изменить хоть что-то незначительно нарушает баланс в других местах и не приводит к улучшению ситуации; а крупные изменения в этом случае – это уже другая книга. Нос вытащишь – хвост увязнет, хвост вытащишь – нос увязнет. Увы!

Если абстрагироваться от аллегории, описанной в прошлом абзаце, словарь может показаться протестом Сенчина против восприятия среднестатистическим городским читателем его текста. В самом деле, и без этого словарика многие слова понятны из контекста; кроме того, их не так уж и много, особенно в сравнении с распутинской повестью. Почти все эти «деревенизмы» можно было бы проглотить и не поперхнуться. Сенчин словно бы демонстративно заставляет нас обратить внимание на то, как много самобытных слов в лексиконе современного деревенского жителя. Надо помнить, что профиль текста – художественный, а не просветительный, и оформлены «переводы слов» не в качестве сносок (как, например, в уже упоминавшемся здесь романе «С неба упали три яблока») или примечаний в конце книги, а именно в качестве словарика, и это само слово – «словарик» – указывает на некоторый авторский посыл.

Если бы Распутин составлял такой словарь, то он бы получился у него еще больше, тем паче что когда читаешь советского автора, складывается ощущение, что он практически не прибегает к художественной обработке речи героев и подает ее весьма натуралистично. В то же время при прочтении Сенчина кажется, что он довольно активно «редактирует» своих героев. Многие чересчур буквально понимают следующую фразу А.П. Чехова: «Пусть на сцене все будет так же сложно и так же вместе с тем просто, как в жизни». Этой фразой Чехов естественно не призывал к документальному натурализму, а всего лишь



говорил о том, что глубина проблем в искусстве должна быть такой же, как и в жизни; структура же подобия между действительностью и вымыслом может быть разнообразной. Писатель сам волен выбирать тот способ преломления действительности, который по своим соображениям сочтет нужным. Вот и думаешь, сопоставляя стили авторов, что Сенчин чуть больше и витиеватее преломляет реальность, чем это делает Распутин, и можно найти ряд причин этому: Сенчину комфортнее работать в таком поле мимесиса, он считает, что его читателю будет проще, не хочется повторяться с предшественником, и, не главное, но важное – это наиболее сильный способ заострить внимание на главном мотиве произведения. Если в последнем факторе и кроется некоторая гипербола, то это нормально – гипербола и служит творцу, чтобы достучаться до читателя. Важно помнить, что художественные тексты не могут быть буквальными методическими материалами для лингвистических исследований специфики местных языков, а могут быть лишь иллюстрациями в случае, если эти тексты честно написаны.

Разница в «реально-вымышленных переходах» у Распутина и Сенчина является важным опорным пунктом для понимания того, что оценка всей деревенской тематики у авторов сильно отличается, и главным основанием этому служит то, что русская деревня и отношение (и словом, и делом) к ней очень сильно изменились. Конечно, можно спекулировать на тему, до какой степени привходящие условия могли сделать авторов несвободными или неискренними при написании произведений, однако при внимательном рассмотрении очевидно, что обе работы крайне достоверны. И роман Сенчина, и повесть Распутина очень выразительно и правдиво описывают не просто жизнь деревни, но и то, как деревня реагирует на внешние раздражители. И язык в этой ситуации служит индикатором борьбы двух цивилизаций: деревенской и городской. Но если у Распутина язык деревни оказывается еще устойчив, и создается уверенность, что в незатопленных селениях он так и останется крепким, а культурный пласт, стоящий на нем, не размоется, то в романе Сенчина деревенский язык представляется угасающим, уже не способным в полной мере изобразить голос прошлого: даже песня на посиделках передает лишь эмоции героев. Не является ли нежелание Сенчина обратиться к фольклору еще одним способом передать умирание языка, на котором он основан? Если это так, то кажется, что автор пожертвовал отличной возможностью уловить эволюционный переход в мироощущении деревни и ее жителей. В романе «Зулейха открывает глаза» сказка, которую заглавная героиня рассказывает своему сыну, является отличным камертоном, по которому можно сверить то, какой была героиня, и то, какой она стала. В произведении Распутина отсутствие обращения к фольклору – за исключением великолепных образов Хозяина (миф) и Царского лиственя (легенда-про-сегодня) – объясняется тем, что слома того уровня, как в «Зоне затопления», нет и тем, что жанр – повесть. Для Сенчина обращение к народному творчеству еще бы могло помочь в решении проблемы автономности отдельных глав, которые выходили в периодике по отдельности; автор довольно удачно смог идейно-тематически сшить главы, однако фольклор, столь уместный для деревенской тематики, мог бы стать таким метрономом для всех частей произведения.

Все-таки дарвинистская проблематика столь увлекает и Распутина, и Сенчина, вкуче с будто бы обязательствами перед жанром деревенской прозы быть во всех смыслах поближе к земле, что порой им

не хватает близости к героям (забавно, что термин «деревенская проза» чувствует себя уютно рядом с повестью «Прощание с Матерой» и совсем неуместно рядом с романом «Зона затопления», хотя – казалось бы! – нет ли в этом печати лукавства в формализме современного восприятия этого термина?). И если это отчасти можно простить Распутину по причине того, что с его героями История действует организованнее и продуманнее, то видимая деликатность Истории по отношению к героям Сенчина приводит к череде столь глубоких потрясений, что автор должен пойти на большой психологизм. Все познается в сравнении, и здесь опять же хочется обратиться к «Гроздьям гнева»: гениальный Джон Стейнбек изумительно точен в выборе слов для передачи всех тех драм и трагедий, через которые проходят персонажи книги, при этом органично сочетает это с остросоциальной проблематикой. К сожалению, Сенчину чего-то не хватает при описании проблем своих героев, и не является оправданием, что они потерянные и отчаявшиеся: потерянный человек – не овощ, он тоже может страдать. Это же служит источником тому, что голоса деревенских жителей звучат слишком одинаково, приводя к некоторой обезличенности их отчаяния.

Драмы при описании переживаний действующих лиц не так много, из-за чего ошибочно создается впечатление уменьшения значимости вопроса об уместности затопления деревень; в этом кроется некий парадокс, потому что Сенчин расстановкой акцентов пытался добиться, чтобы первая не отвлекала от второго, рискуя превратить все в бытовую спекуляцию. Основанием для вопроса необходимости затопления конкретной деревни у писателя служат не только судьбы отдельных героев, но и дилемма о необходимости существования всей Деревни в ее прежнем виде. Здесь уместно столкнуть мысли двух героев произведения: деревенского мужчины и городской женщины.

Главное, что мучило: разве нет других, новых способов добывать электроэнергию, кроме как строить плотины, затапливать тысячи гектаров земли? Атомные станции ругают, но ведь они все-таки разумней, чем вот это – то, что сделали у них. И их ГЭС не последняя, не доделка советского времени – собираются новую строить ниже по реке. И снова, значит, будут топить огромные территории, переселять людей, вырубать, жечь, бросать, судиться.

Ее, уроженку почти миллионника, выезжавшую за его пределы редко и недалеко, всегда удивляло, что люди могут, а главное, хотят жить в глухих деревнях, в избушках, где, если не потопить зимой печку, через несколько часов вода в ведре превратится в лед.

Зачем эта добровольная ежедневная борьба за существование? Конечно, двести лет назад это было в порядке вещей, но ведь человечество давно научилось быстро строить высотные здания, проводить водопровод, централизованное отопление, оно прорыло сотни километров туннелей для метро, придумало, как на крошечном участке развести потоки автомобилей; цивилизованному обществу не нужны теперь бесконечные гектары земли, чтобы вырастить необходимое количество пшеницы, картошки, огурцов; каждой семье не нужна теперь своя корова, свои свиньи, куры, овцы.

Человечество стремится к оптимизации, экономии, а вот эти деревушки с сотней-другой упорных жителей тормозят прогресс. Ведь они не просто живут отдельно от большого мира, но и требуют, чтобы им привозили в магазин городские товары, был у них врач, клуб с киносеансами, школа, детский сад, рабочие места, которые по сути-то государству не нужны, убыточные.

Стоит отметить, что спустя некоторое время героиня изменила свое мнение и стала всячески бороться за деревенских жителей, но движущей силой было, прежде всего локальное стремление к справедливости, которое героиня очень смутно, скорее на интуитивном уровне, пыталась увязать с вопросом о необходимости расселения. И вообще, разговоры о том, насколько это действительно необходимо государству и всем его жителям, практически не ведутся: все эти пересуды обычно скукоживаются до, может, и справедливых, но все равно переливающихся из пустого в порожнее бесед о коррупции и неграмотности властей. Причина в том, что в какие-то высокие цели никто не верит. И сравните эти настроения с диалогом из «Прощания с Матерой» между отцом и сыном.

– Там видно будет. – И, почувствовав, что этого мало для ответа, заговорил быстрее и уверенней, с какой-то новой у него, печальной и словно бы обиженной интонацией: – Как вы не понимаете?.. Бабушка не понимает – ей простительно, она старая. А ты-то? – Андрей чуть споткнулся, не решившись сказать «отец», но и не захотев, отказавшись вернуться к прежнему и, как казалось ему, детскому «папа». – Ты-то почему не понимаешь? Сам на машинах работаешь, знаешь, что теперь другое время. Пешком теперь, если хозяйство вести, как говорится, нельзя. Далеко не уйдешь. Разве что по Матере топтаться... Много ли толку от этой Матеры? И ГЭС строят... наверное, подумали, что к чему, а не с бухты-баряхты. Значит, сейчас, вот сейчас, а не вчера, не позавчера, это сильно надо. Значит, самое нужное. Вот я и хочу туда, где самое нужное. Вы почему-то о себе только думаете, да и то, однако, памятью больше думаете, памяти у вас много накопилось, а там думают обо всех сразу. Жалко Матеру, и мне тоже жалко, она нам родная... По-другому, значит, нельзя. Все равно бы она такой, какая она сейчас есть, такой старой, что ли, долго не простояла. Все равно бы перестраиваться пришлось, на новую жизнь переходить. Люди и то больше чем сто лет не живут, другие рождаются. Как вы не понимаете?

Павел посмотрел на сына внимательно и удивленно, будто только теперь по-настоящему осознав, что перед ним действительно взрослый и вполне разумный человек, но уже не из его – из другого, из следующего поколения.

– Почему не понимаем? – задумчиво и не сразу сказал он. – Маленько и мы чего-то понимаем. Я с тобой не о том говорю, нужна или не нужна ГЭС. Об этом спору нет. Я говорю, что и здесь кому-то работать надо.

– Вот вы и работайте. Работа, она тоже вроде как по возрастам. Где новые стройки, где, значит, трудней всего – там молодежь. Где полегче, попривычней – другие. Все-таки не сравнить – там или здесь, условия-то разные. Туда люди для того и едут, чтоб одну большую работу всем вместе сделать, она для них – самое главное, они там и живут только для этой работы, а вы здесь вроде как наоборот, вроде как работаете для жизни. Ты говоришь, внимание. Внимание, оно от важности, от нужности, ничего в нем особенного нет. По моему, всегда так было. У тебя тоже... если тебе требуется что-то сделать в первую очередь, ты же из внимания это не выпустишь, хочешь не хочешь, а будешь думать, пока не сделаешь. А там это в масштабе, значит, всей страны, там, может, от этой стройки много чего другого зависит. Стройка-то под вниманием, а люди, они просто работают, и все. Не для славы, а для дела. Ну, может, получше работают, чем в другом месте. Так требуется...

– Вот это-то, парень, и плохо, что в одном месте мы требуем работать получше, а в другом считаем, что можно как попало.

– Плохо, конечно, – не задумываясь, думая над тем, что еще возразить отцу, кивнул Андрей. – Вспомни, как было, например, тридцать или двадцать лет

назад и как теперь. Сколько всего понастроили да напридумывали! Когда-то, наверно, и на нашу Матеру, казалось, зачем идти? Земли, что ли, без нее не хватало? А кто-то пришел и остался – и вышло, что земли без Матеры и правда не хватало. А сын его пошел дальше – не все же тут задерживались. А сын сына еще дальше. Это закон жизни, и его не остановить, и их, молодых, тоже не остановить. На то они и молодые. Пожилые, значит, остаются на обжитых местах, остаются еще больше их обживать, а молодые, они так устроены, наверно, они к новому стремятся. Ясно, что они первыми идут туда, где труднее...

– А почему ты думаешь, что здесь полегче?

Все-таки выражение «цель оправдывает средства» нелепо без уточнения, каковы цель и средства. Дарвинистские разговоры с горящими глазами о необходимости затопления Матеры, кажущиеся абсолютно уместными для своего времени, превратятся в лукавые и наивные, перенеси их на страницы «Зоны затопления». Именно непонимание своего жертвоприношения является одной из причин той апатии и отчужденности, которая свойственна многим героям романа и которая создает атмосферу безжизненного.

На страницах «Зоны затопления» Смерти действительно много. Ей роман начинается: умирает одна из деревенских жительниц, но вместо того, чтобы похоронить усопшую на малой родине, родные предпочитают забрать тело и провести погребение в другом месте; и эта сюжетная линия оказывается закольцована с концовкой, где выбившаяся из планируемых пределов вода пускает на дно городское кладбище, куда и были перенесены останки умерших из затопленных деревень.

Много места в книге уделено как раз целесообразности и трудности транспортировки захоронений из старых мест в новые. Один из героев книги не знает, как правильно поступить.

Весь последний год был уверен, что переносить нужно, а теперь, увидев череп потревоженного, сомневался все сильнее, боялся сделать ошибку, за которую и его, и его живых близких людей накажет высший закон. В далекой древности этот закон велел людям хранить покой своих мертвых, а он, Алексей Брюханов, его нарушает – взял лопату и стал копать.

К тому же есть в этом перезахоронении нечестность, ложь.

Вот собираются на городском кладбище члены большой семьи. Старшие рассказывают детям, внукам о бабушках, прабабушках. И младшие спрашивают: «А они тоже здесь, в Колпинске, жили?» И старшие натужно, стараясь не касаться действительно важного, объясняют: «Нет, в деревне. Там, на реке... Теперь той деревни уже нет». Да, деревни нет, а те, кто там всю жизнь прожил, там умер и был похоронен, теперь лежат здесь. И, получается, ничего страшного, если могилки все-таки сохранены, имена-фамилии, фотокарточки уцелели. Другое дело, когда отвечаешь на вопрос младших, где их бабушки-прабабушки, дедушки-прадедушки так: «Они лежат на кладбище родной деревни. Это место теперь под водой, его затопили из-за вот этой электростанции».

Интересная аллегория: даже перенос могил заканчивается трагично, и человек, отвечающий за этот процесс, умирает. Харон – в греческой мифологии перевозчик душ через реку Стикс в Аид – соглашался перевозить только тех умерших, чьи останки обрели покой; но видимо, сенчинский Харон – Ткачук – не выполнил это условие перед самим собой или души мертвых этому воспротивились, и перевозчик сам не смог пережить это действие. Но, несмотря на столь символически странную

смерть еще недавно казавшегося здоровым человека, чувство отрешенности продолжает пронизывать книгу.

Меланхолия «Зоны затопления» не просто в том, что Старая Деревня угасает, и не только в том, что мы ничего не можем сделать, а еще и в мерзко саднящем чувстве лицемерного самообмана будто бы мы отдаем ее (Неразвитое) нечто новому (Развитому). Но вглядываясь в Сегодня, приходится признать: пытаюсь найти оправдание своему безволию и слабости необходимостью уступить якобы чему-то большему, общество лишь предоставляет отписку своей совести. Опережающая же горечь возникает не из-за верности поговорки «что имеем – не храним, потерявши – плачем», а оттого, что, когда мы вконец обнаружим потерю, не останется даже тени уходящего права на стыд, печаль и плач – лишь бездушная пустота.